

## ЛИСИД

### Сократ

203 Я направился из Академии прямо в Ликей дорогой, коя окаймляет городскую стену снаружи и тесно к ней примыкает <sup>1</sup>. Когда я оказался у небольшого входа — того, что расположен у Панопова источника, — я встретил там Гиппотала, сына Гиеронима, Ктесиппа из Пэаннии <sup>2</sup> и других толпившихся вокруг них молодых людей.

Гиппотал, увидев, что я подхожу, молвил:

— Сократ мой, откуда ты держишь путь и куда?

б — Из Академии, — отвечал я, — а иду я в Ликей.

— Значит, — отозвался он, — ты идешь туда же, куда и мы. Не присоединишься ли к нам? Это стоило бы сделать.

— Куда именно, — спросил я, — ты хочешь меня повести и к кому я должен присоединиться?

— Сюда, — отвечал он, указывая мне на расположенное напротив стены крытое помещение с отворенной дверью. — Мы здесь проводим время — мы и многие другие прекрасные юноши.

204 — А что это за постройка и в чем состоит ваше времяпрепровождение здесь?

— Это, — отвечал он, — недавно выстроенная палестра. Проводим же мы время большей частью в беседах, к которым с радостью привлечем и тебя.

— И прекрасно сделаете, — отозвался я. — А кто здесь наставник?

— Твой приятель и поклонник, — отвечал он, — Микк <sup>3</sup>.

— Клянусь Зевсом, — сказал я, — это муж не без достоинств и способный софист.

— Так не хочешь ли последовать за нами, — спросил Гиппотал, — и посмотреть, кто там собрался?

б — Сначала я охотно услышал бы от тебя, для чего ты меня приглашаешь и кто среди собравшихся там выделяется своей красотой?

— На этот счет мнения наши расходятся, Сократ,— отвечал он.

— Но тебе-то кто кажется красивым, Гиппотал? Ответь мне.

Однако он, услышав этот вопрос, покраснел, и тогда я сказал:

— Сын Гиеронима, Гиппотал! Можешь и не говорить, влюблен ты в кого-нибудь или нет: я вижу, что ты не только влюблен, но и далеко зашел в этой своей любви. И хотя во всем остальном я человек неспособный и бесполезный, это даровано мне самим богом — немедленно распознавать влюбленного и любимого.

Но, услышав мои слова, он покраснел еще больше.

Тут Ктесипп сказал:

— Мой Гиппотал, что ты краснеешь и не решаешься открыть Сократу имя любимого — это свидетельство изысканного воспитания. Но если он хоть недолго с тобой побеседует, то пресытится до отвала бесконечным твоим повторением этого имени. Наши же уши уже до отказа забиты и переполнены именем Лисида<sup>4</sup>, а если Гиппотал вдобавок выпьет немножко вина, то даже тогда, когда мы внезапно пробуждаемся от сна, нам будет мерещиться имя Лисида. И хотя рассказы, которые он ведет, невероятно докучливы, еще страшнее бывает, когда он пытается обрушить на нас стихи и прозу. Но самое ужасное, что он воспевает своего любимца в песнях пронзительным голосом и мы должны терпеливо это выслушивать. А вот теперь, когда ты его спрашиваешь, он краснеет!

— Лисид этот, — сказал я, — видно, совсем еще юн. Я сужу по тому, что имя его показалось мне незнакомым.

— Это из-за того, — возразил Ктесипп, — что его не часто называют по имени, но величают пока по отцу, который весьма известен. Я ведь хорошо знаю, что облик мальчика тебе достаточно знаком, а этого одного довольно, чтобы его признать.

— Скажи же, — молвил я, — чей он сын?

— Он — старший сын Демократа из дема Эксоны<sup>5</sup>.

— Что ж, — сказал я, — ты, Гиппотал, избрал себе любовь великолепную и дерзновенную во всех отношениях! Иди же сюда и покажи мне свое искусство, как показывал его им, дабы я увидел, знаешь ли ты, как влюбленному надлежит говорить о своем любимце — и ему самому и остальным.

— Веришь ли ты, Сократ, хоть одному слову из того, что здесь наговорил Ктесипп? — возразил Гиппотал.

— Что ж, — отозвался я, — ты будешь отрицать и любовь, о которой он нам поведал?

— Нет, не любовь, — возразил он, — но то, будто я сочиняю в честь своего любимца стихи и прозу.

— Он не в своем уме, — вмешался Ктесипп. — Это бред и болтовня!

Но я сказал:

— Мой Гиппотал, мне нет нужды слушать стихи и песни, даже если ты сочинил их в честь юноши, но меня интересует твой образ мыслей: я хочу знать, как обращаешься ты к своему любимцу.

— А вот Ктесипп тебе скажет, — бросил он. — Ведь он хорошо это знает и помнит, если, как он утверждает, я постоянно утомляю своими песнями его слух.

— Да, клянусь богами, — сказал Ктесипп, — и даже слишком: славословия-то эти достойны смеха. И как не быть им смехотворными, если влюбленный, уделяющий особое внимание мальчику, не умеет сказать ничего своего, но повторяет лишь то, что доступно любому ребенку? Ведь все его сочинения и речи о том, что весь город твердит о Демократе и Лисиде, деде этого мальчика, а также обо всех его предках — их богатстве, конюшнях, о победах на Пифийских, Истмийских и Немейских играх на четырехконных колесницах и верхом — и вдобавок о еще более древних вещах<sup>6</sup>. Вчера в одной из таких поэм он подробно поведал о гостеприимстве, оказанном Гераклу<sup>7</sup>: мол, ввиду своего родства с Гераклом один из предков Лисиды (родившийся якобы от Зевса и дочери основателя его дема) принимал у себя героя; это же рассказы старух<sup>8</sup>, и все прочее в том же духе, Сократ; вот какие речи и песни принуждает он нас выслушивать.

Услышав это, я молвил:

— Чудак ты, Гиппотал! Что же ты поешь себе славу раньше, чем одержал победу?

— Но, Сократ, — возразил он, — я пою песни не в свою честь.

— Ты просто не подумал об этом, — сказал я.

— А на самом деле? — спросил он.

— Да все эти песнопения прежде всего относятся к тебе самому, — отвечал я. — Ведь если ты покоришь такого любимца, то все сказанное и спетое тобою послужит к вящей твоей славе и воистину станет хвалебным

гимном в твою честь как победителя, коль скоро ты добился расположения этого мальчика. Если же он от тебя ускользнет, то, чем более возвышенными были славословия, пропетые тобой в честь твоего любимца, тем в более смешном виде предстанешь ты, утратив для себя все его прелести. Ведь тот, мой друг, кто искушен в любовных делах, не восхваляет любимого до того, как одержит над ним победу, страшась неожиданностей в будущем. Вместе с тем и красавцы, когда кто-либо восхваляет их и превозносит, преисполняются высокомерием и самомнением. Ты не согласен?

— Нет, конечно, согласен,— отвечал он.

— И чем они самонадеяннее, тем ведь труднее поймать их в сети?

— Видимо, да.

— Каким же тебе покажется охотник, во время погони лишь спугивающий дичь и делающий ее тем самым неуловимой?

— Ясно, он покажется мне негодным охотником. ь

— А разве это не безвкусица, когда слова и песни не очаровывают, но лишь возбуждают? Ведь так?

— Мне кажется, да.

— Смотри же, Гиппотал, как бы ты не оказался виновным во всем этом из-за своей поэзии; я думаю, тот, кто поэзией вредит себе самому, не может считать себя хорошим поэтом: ведь он себе враг.

— Ты прав, клянусь Зевсом,— сказал Гиппотал.— Это было бы страшной бессмыслицей. Но раз так, я хочу посоветоваться с тобой, Сократ: если тебе что-либо известно на этот счет, скажи мне, с помощью каких слов и действий можно стать милым своему любимцу? с

— Нелегко,— возразил я,— на это ответить. Но если ты согласен склонить его к беседе со мною, быть может, я смогу тебе показать, что надо ему говорить вместо тех слов и песен, какие, по словам других, ты к нему обращаешь.

— Нет ничего легче,— сказал он.— Если ты войдешь вместе с нашим Ктесиппом и, сев, начнешь беседу, я думаю, Лисид сам к тебе подойдет: ведь он необычайно внимательный слушатель, Сократ, да, кроме того, в честь Гермеса мальчики совершают все обряды совместно с юношами<sup>9</sup>. Он подойдет к тебе, конечно. Если же нет, то знай, что он знаком с Ктесиппом через его родича, Менексена<sup>10</sup>, последнему же он лучший друг. Итак, если он не подойдет сам, Ктесипп его подзовет. д

— Так надо сделать, — сказал я.

- С этими словами, увлекая за собой Ктесиппа, я направился к палестре; остальные последовали туда за нами.

Когда мы вошли, мы увидели, что мальчики уже совершили жертвоприношение, почти покончили с торжественными обрядами и, одетые все по-праздничному, играют в бабки. Многие резвились снаружи, во дворе, а некоторые в углу раздевальни играли в чёт и нечёт с помощью кучи бабок, которые они извлекали из нескольких плетеных корзин. Их окружала толпа зрителей; среди последних был и Лисид: он стоял в кругу мальчиков и юношей с венком на голове, выделяясь всем своим видом — не только заслуживающей хвалы красотой, но и явными внутренними достоинствами <sup>11</sup>.

Мы направились в противоположный угол, поскольку там царила тишина, и, сев, начали о чем-то между собою беседовать. Лисид же, обернувшись, часто на нас взглядывал, и было ясно, что ему не терпится подойти. Однако он еще колебался, не решаясь приблизиться один. Тут вошел со двора в круг играющих Менексен и, едва только завидел меня и Ктесиппа, приблизился с намерением сесть рядом. Заметив его, Лисид последовал за ним и уселся около нас с ним вместе. Подошли тут и другие, а также и Гиппотал, когда увидел, что многие нас окружили: не желая, чтобы его видел Лисид, и опасаясь навлечь его гнев, он использовал их как прикрытие. Так он нас слушал, стоя рядом.

Тут я, взглянув на Менексена, спросил его:

- — Сын Демофонта, кто из вас двоих старше?  
— Мы на этот счет спорим, — отвечал он.  
— Так вы, видно, спорите и о том, кто из вас знатнее?  
— Да, конечно, — отвечал он.  
— Что же, и о том, кто красивее?  
Тут они оба рассмеялись.

— Но я не стану спрашивать, — продолжал я, — который из вас богаче, ведь вы друзья. Не так ли?

— Несомненно, — отвечали оба.

— Не говорится ли, что у друзей — все общее <sup>12</sup>, так что в этом они ничуть не отличаются друг от друга, если только правду молвят о своей дружбе?

Оба согласились с моими словами.

- После этого я хотел было спросить, кто из них более справедлив и разумен, но тут некий человек подошел и

отвел в сторону Менексена, говоря, что его зовет учитель гимнастики: мне показалось, что он был озабочен жертвоприношением.

Итак, Менексен удалился. Я же спросил Лисиды:

Что такое  
любовь и дружба?  
Постановка  
вопроса

— Наверное, мой Лисид, тебя очень любят твои отец и мать?

— Да, очень, — отвечал он.

— Значит, они хотели бы видеть тебя как можно более счастливым?

— Конечно.

— А думаешь ли ты, что счастлив человек, пребывающий в рабстве и которому не дано совершить ничего из того, к чему он стремится?

— Нет, клянусь Зевсом! — отвечал он.

— Значит, если отец и мать тебя любят и стремятся к твоему счастью, ясно во всех отношениях, что они проявляют заботу о том, чтобы тебе было хорошо.

— Да и как же иначе? — молвил он.

— Следовательно, они разрешают тебе делать все, что заблагорассудится, и не бранят тебя и не препятствуют исполнять твои желания?

— Нет, клянусь Зевсом, бранят и многое мне запрещают.

— Что ты говоришь? — воскликнул я. — Желая тебе счастья, они мешают исполнению твоих желаний? Скажи же мне вот что: если ты пожелаешь покататься на одной из колесниц твоего отца, взяв вожжи, когда он участвует в состязании, разрешит он это тебе или запретит?

— Клянусь Зевсом, не разрешит, — отвечал он.

— А кому он это разрешит?

— У отца есть возница, которому он платит.

— Что ты говоришь? Наемнику доверяют больше, чем тебе, разрешают делать с лошадьми все, что угодно, и вдобавок платят ему за это деньги?

— Но что же тут удивительного? — спросил Лисид.

— Однако, думаю я, упряжкой мулов тебе разрешают править и, если ты пожелаешь, стегать их кнутом?

— Да как же, — воскликнул он, — можно мне это разрешить?!

— Что же, — спросил я, — никому не разрешается их стегать?

— Конечно, разрешается, — сказал он, — погонщику мулов.

— Свободному или рабу?

— Рабу.

— Похоже, что раба они ставят выше тебя, своего сына, и доверяют ему свое имущество больше, чем тебе, разрешая ему делать все, что он пожелает; тебе же они это запрещают. Но скажи мне еще: позволяют они тебе управлять самим собою или и этого тебе не доверяют?

— Но как, — возразил он, — могут они мне это доверить?

— Однако кто-то тобой управляет?

— Вот он, мой воспитатель <sup>13</sup>, — отвечал Лисид.

— Будучи рабом?

— Что ж тут такого? Ведь это наш раб, — сказал он.

— Чудно́ это, — молвил я, — когда свободный человек находится под властью раба. А что же делает он в качестве твоего воспитателя?

— Он отводит меня в школу, к учителю.

а — Значит, тобою управляют также учителя?

— Разумеется.

— Много же над тобой поставлено повелителей и господ волею твоего отца. Но когда ты возвращаешься домой, к своей матери, она разрешает тебе, когда ткет, делать все, что тебе угодно, с шерстью или ткацким станком, чтобы ты был у нее счастливым? Наверное, она не запрещает тебе хвататься за ее станок, челнок или другие шерстопрядильные инструменты?

б — Нет, клянусь Зевсом! — воскликнул он, рассмеявшись. — Не только запрещает, но был бы я бит, если бы позволял себе это.

— О, Геракл! — вскричал я. — Уж не обидел ли ты чем-нибудь своего отца или мать?

— Нет, клянусь Зевсом, никоим образом, — отвечал он.

— Но за что же они столь ужасным образом мешают тебе быть счастливым и делать, что тебе вздумается, и воспитывают тебя так, что в течение целого дня ты кому-то подчиняешься, — одним словом, так, что ты не имеешь возможности делать почти ничего из того, что ты хочешь? Получается, что тебе нет никакой пользы ни от обладания большим состоянием, ибо все остальные распоряжаются им больше, чем ты, ни от твоего столь благородного телосложения, ибо тело твое находится на попечении и под присмотром кого-то другого. Ты же ничем не владеешь, Лисид, и не свершаешь ничего из того, что тебе желанно.

— Но, Сократ, ведь я еще недостаточно взрослый, — возразил он.

— Не это, сын Демократа, служит тебе препятствием, ибо кое в чем отец и мать доверяют тебе и не ждут, пока ты повзрослеешь. Ведь когда им нужно, чтобы им что-нибудь прочитали или написали, они во всем доме тебе первому это поручают. Не так ли?

— Да, конечно.

— Значит, ты можешь при этом поставить первой ту букву, какую сам пожелаешь, и вторую также на свой выбор; подобным же образом можешь ты и читать. И думаю я, когда ты берешь в руки лиру, ни отец, ни мать не мешают тебе натянуть или ослабить какую угодно струну и перебирать и ударять плектром по струнам<sup>14</sup>. Или мешают?

— Нет, конечно.

— Так какая же причина, Лисид, что в этих делах они тебе не мешают, а в том, о чем мы говорили недавно, препятствуют?

— Думаю, та, что эти вещи я знаю, те же, другие, нет.

— Прекрасно, — сказал я, — мой доблестный друг. Значит, отец твой дожидается не твоего повзросления, чтобы доверить тебе все дела, а того дня, когда он сочтет, что ты разумеешь все лучше его: тогда он доверит тебе и себя самого и свое достояние.

— Да, я так думаю, — отозвался он.

— Отлично. Как же, полагаешь ты, обстоит дело с соседом? Разве для него будет действительна не та же мерка в отношении тебя, что и для твоего отца? Не мыслишь ли ты, что он доверит тебе управление своим домом, когда сочтет, что ты лучше разбираешься в хозяйстве, чем он, или, по-твоему, он и тогда сохранит управление за собой?

— Я думаю, он передаст его мне.

— Ну а афиняне, полагаешь ты, не передадут тебе управление своими делами, если почувствуют, что ты вполне разумен?

— Я полагаю, передадут.

— Во имя Зевса, — спросил я, — а как же Великий царь? Доверит ли он старшему сыну, который наследует власть над всей Азией, добавить что-либо в суп по своему усмотрению, когда варится мясо, или же нам, если мы, придя к нему, докажем, что лучше его сына разбираемся в приготовлении мясных блюд?



— Ясно, что нам, — отвечал он.

— А своему сыну он не позволит добавить в суп ничего, даже самой малости; нам же, какую пригоршню соли мы ни схватили бы по своему усмотрению, он, верно, дозволил бы положить ее целиком.

— Как же иначе?

210 — А если бы у его сына болели глаза, дозволил бы он ему прикоснуться к своим глазам, зная, что тот не сведущ в лечении, или бы запретил?

— Запретил бы.

— Нам же, если бы он понял, что мы умеем лечить, полагаю, он не препятствовал бы, даже если бы мы вздумали, открыв глаза его сына, насыпать в них пепла: он считал бы, что мы понимаем, что делаем.

— Ты правильно говоришь.

— Следовательно, и во всем остальном он доверился бы нам скорее, чем самому себе или своему сыну, — в том, относительно чего мы показались бы ему более сведущими, чем они.

— Да, безусловно, Сократ, — отозвался он.

в Лисид, — сказал я. — В том, в чем мы бываем разумны, все нам доверяют — эллины и варвары, мужчины и женщины; мы делаем здесь все, что нам вздумается, и никто добровольно не станет нам ставить палки в колеса, но мы будем и сами свободно действовать на всех этих поприщах и повелевать другими, поскольку это — наши владения, от которых мы будем получать прибыль. Но в том, чего мы не умеем, никто не окажет нам доверия и не позволит делать все, что нам покажется с правильным; наоборот, все будут нам в этом препятствовать, насколько смогут, и не только чужие, но и родные отец с матерью, и даже еще более близкие, если это возможно, люди; мы в этих делах будем подчиняться другим, и дела эти будут чужим достоянием, ибо мы от них не получим никакой выгоды. Ты с этим согласен?

— Согласен.

— Но при таких обстоятельствах будем ли мы кому-то угодны и будет ли нас хоть кто-то любить, коль скоро мы в этих делах проявим себя непригодными?

— Конечно, никто, — отвечал он.

— Значит, и твой отец не любит тебя, как никто обычно не любит человека, оказывающегося бесполезным.

— Похоже, что так, — отозвался он.

— Если же ты станешь более сведущим, мой мальчик, все будут тебя любить и станут тебе близкими друзьями: ведь ты окажешься человеком полезным и достойным. А коль не поумнеешь, тебе ни твой отец и никто другой не будут друзьями — ни даже мать, ни другие твои домочадцы. Но возможно ли кому-то, Лисид, сильно хваться тем, в чем он ничего не смыслит?

— Да могло ли бы это случиться? — отозвался он.

— А ведь если ты нуждаешься в учителе, ты пока еще несмышлениш.

— Это правда.

— Следовательно, ты не очень-то мнишь о себе, коль скоро ты еще не умен<sup>15</sup>.

— Клянусь Зевсом, Сократ, — отвечал он, — я и сам такого же мнения.

Услышав его ответ, я обернулся к Гиппоталу, чуть было не допустив оплошность; я едва не сказал: вот так, мол, Гиппотал, надо разговаривать со своим любимцем, стараясь его унижить и подавить, а не так, как ты это делаешь, кружа ему голову похвалами и тем самым расслабляя его. Но заметив, как он взволнован и смущен всем сказанным, я вспомнил, что, хоть он и находится рядом, он не желает, чтобы Лисид его заметил. Поэтому я сдержался и ничего не сказал.

Тут как раз вернулся к нам Менексен; он сел рядом с Лисидом, на то место, с которого раньше встал. А Лисид с милой ребячьей шутливостью тайком от Менексена тихо мне шепнул:

— Мой Сократ, скажи и Менексену то, что ты сказал мне.

А я в ответ:

— Ты сам скажешь ему это, Лисид: ты ведь очень внимательно меня слушал.

— Да, не сомневайся, — отозвался он.

— Попытайся же, — сказал я, — по возможности лучше это припомнить, чтобы передать ему все поточнее. Если же что-либо от тебя ускользнет, переспроси меня об этом при первом же случае.

— Но я все именно так и сделаю, Сократ, и очень усердно, будь совершенно спокоен, — заверил он меня, — но скажи ему еще что-нибудь, чтобы и я мог послушать, пока не настало время идти домой.

— Что ж, надо так сделать, раз и ты на этом настаиваешь. Но смотри, приди мне на помощь, если Ме-

нексен попытается меня опровергнуть. Или ты не знаешь, какой он спорщик?

— Да, клянусь Зевсом, он к этому очень склонен. Потому-то я и хочу, чтобы ты с ним побеседовал.

— Для того, — заметил я, — чтобы стать посмешищем?

— Нет, клянусь Зевсом, — сказал он, — но чтобы его проучить.

— Каким образом? — спросил я. — Это нелегко, ведь он ученик Ктесиппа и человек весьма искушенный<sup>16</sup>. Да Ктесипп и сам здесь присутствует. Или ты не видишь?

— Пусть тебя это совсем не заботит, Сократ, — возразил Лисид. — Пожалуйста, побеседуй с ним.

— Что ж, побеседую, — сказал я.

Так мы разговаривали между собою, но тут вмешался Ктесипп:

— Что это вы оба наслаждаетесь разговором между собой и не приглашаете нас участвовать в вашей беседе?

— Да нет же, примите, пожалуйста, в ней участие. Ведь Лисид не понимает того, о чем я ему толкую, и говорит, что скорее всего в этом разберется Менексен. Поэтому он настаивает, чтобы я его расспросил.

— Так что же, — сказал Ктесипп, — ты его не спрашиваешь?

— Но сейчас я начну задавать ему вопросы, — возразил я. — Ответь же мне, Менексен, на то, что я у тебя спрошу. Случилось так, что с детства у меня было страстное стремление к некоему приобретению, как это бывает и с другими людьми, желающими одни — одного, другие — другого. Один стремится приобрести лошадей, другой — собак, третий — золото, четвертый — почет. Я же к подобным вещам равнодушен, но зато весьма алчен в приобретении друзей и желал бы иметь хорошего друга гораздо больше, чем самого лучшего в мире перепела или же петуха<sup>17</sup> либо, клянусь Зевсом, коня или собаку; и полагаю, клянусь собакой, я гораздо скорее, чем сокровище Дария<sup>18</sup>, взял бы себе товарища (предпочтя его самому Дарию) — так страстно жажду я дружбы. И вот, видя вас вместе с Лисидом, я поражен волнением и почитаю вас счастливыми: несмотря на свою молодость, вы оба сумели легко и быстро сделать это приобретение; и ты, таким образом, быстро и верно приобрел в качестве друга Лисида и он — тебя; я же столь далек от подобного приобретения,

что даже не знаю, как один человек становится другом другому, и хочу спросить об этом тебя: ведь у тебя есть опыт.

Так скажи мне: когда один человек любит другого, кто из них кому становится другом: тот, кто любит, — любимому или любимый — тому, кто любит? Или же тут нет никакой разницы?

— Мне кажется, — отвечал он, — разницы здесь нет никакой.

— Что ты говоришь? — спросил я. — Значит, если один любит другого, они оба становятся друзьями друг другу?

— Да, — отвечал он, — по крайней мере таково мое мнение.

— Как, разве не бывает, что любящий не встречает ответной любви со стороны того, кого он любит?

— Бывает.

— Но, значит, бывает даже и ненависть к любящему? Иногда ведь, думается, влюбленные испытывают это со стороны своих любимцев: любя очень сильно, они чувствуют, что не встречают ответной любви, другим же их любимцы попросту отвечают ненавистью. Разве тебе не кажется, что так бывает?

— Да, и даже очень, — отвечал он.

— Разве в подобном случае дело обстоит не так, что один любит, другой же — любим?

— Да, так.

— Но кто же из них кому друг? Любящий — любимому, даже если он не пользуется взаимностью или ему платят ненавистью, или любимый — любящему? Или при таких обстоятельствах ни один из них не бывает другому другом, когда нет взаимной любви между обоими?

— Видимо, дело обстоит именно так.

— Значит, мы пришли к иному мнению, чем раньше. Тогда мы считали, что если один из двух любит, то они оба — друзья. Теперь же нам кажется, что если нет взаимной любви, то ни один из двоих не может считаться другом.

— Это похоже на правду, — отвечал Менексен.

— Значит, любящему ничто не мило, если он не встречает взаимности?

— По-видимому, да.

— Значит, нельзя назвать любителями лошадей тех, кому лошади не отвечают любовью, или любителями

перепелов, а также собак, вина, телесных упражнений или мудрости, если (в последнем случае) мудрость не платит им взаимностью? Или каждый из них любит эти вещи, хотя они им не дружественны, и солгал поэт, сказавший:

Счастлив, кто любит детей и коней однокопытных,  
Гончих псов и странника — чужеземного гостя<sup>19</sup>.

— Нет, мне думается, он не лжет, — сказал Менексен.

— Значит, ты считаешь, что он говорит правду?

— Да.

— Похоже, следовательно, что любимое мило любящему, если оно и не отвечает ему взаимностью или даже его ненавидит? Это видно и в случае с новорожденными 213 детьми: одно они еще не любят, другое даже ненавидят — когда, к примеру, их наказывает отец или мать, — но, и питая ненависть, они в эту пору милее всего на свете своим родителям.

— Да, — подтвердил Менексен, — мне кажется, это так.

— Следовательно, по этому слову, другом оказывается не любящий, но любимый.

— По-видимому.

— И врагом оказывается ненавидимый, а не тот, кто ненавидит.

— Это ясно.

— А следовательно, многие бывают любимы своими врагами и ненавидимы друзьями и, таким образом, бывают друзьями своих врагов и врагами своих друзей, коль скоро друг — любимый, а не любящий. Однако это в высшей степени нелепо, мой милый товарищ, более того, думаю я, невозможно быть врагом своему другу и другом своему врагу.

— Похоже, что ты говоришь правду, Сократ, — сказал Менексен.

— Значит, если это невозможно, любящее должно быть мило любимому.

— Очевидно.

— И с другой стороны, ненавидящее должно быть враждебно ненавидимому.

— Это неизбежно.

— И все-таки мы вынуждены будем признать то, с с чем согласились раньше, а именно будто часто мы

бываем друзьями тому, кто нам не друг, а нередко и враг, — тогда, когда кто-либо любит не любящего или даже ненавидящего, — и будто нередко мы бываем врагами тем, кто нам не враждебен или даже нас любит, — тогда, когда кто-либо ненавидит того, кто к нему не питает ненависти или любит его.

— Видимо, ты прав, — сказал он.

— Но какой же у нас будет выход, — спросил я, — если ни любящие не окажутся друзьями, ни любимые, ни любящие и любимые? Можем ли мы помимо них всех назвать еще и других, кому дано стать друзьями друг другу?

— Клянусь Зевсом, Сократ, — отвечал Менексен, — мне очень трудно тебе на это ответить.

— Быть может, мой Менексен, — сказал я, — мы вообще шли неверным путем в нашем исследовании?

— Да, мне кажется, что неверным, Сократ, — сказал тут Лисид.

При этих словах он покраснел, и мне показалось, что сказанное вырвалось у него невольно из-за того, что он очень внимательно вслушивался в нашу беседу: по нему было видно, что он весь обратился в слух.

Итак, я, желая дать передышку Менексену и радуясь в то же время любознательности, которую проявил его друг, обернулся к Лисиду и продолжал разговор уже с ним. Я сказал:

— Мой Лисид, думается мне, ты говоришь правду, ибо, если бы мы вели рассмотрение правильно, мы не впали бы в такое заблуждение. Не будем же продолжать в подобном роде — исследование это рисуется мне в виде трудной дороги, но, кажется мне, надо идти тем путем, на который мы уже встали, а именно надо обратиться к поэтам: ведь они для нас как бы отцы премудрости и наши вожатые. Несомненно, они совсем неплохо высказываются относительно друзей: так, они утверждают, что само божество делает их друзьями, сводя вместе. Вот как, думается мне, они примерно говорят:

Бог, известно, всегда подобного сводит с подобным <sup>20</sup>

и знакомит их между собой. Тебе не встречались эти стихи?

— Встречались, — отвечал Лисид.

— Так, значит, тебе попадались и сочинения мудрейших мужей, в которых говорится то же самое — что

подобное неизбежно будет дружественным подобному? Я имею в виду тех, кто рассуждает и пишет о природе и о вселенной<sup>21</sup>.

— Да, — отвечал он, — ты верно на них ссылаешься.

— Так как же, — спросил я, — говорится там правда?

— Быть может, — отвечал он.

— Возможно, эти изречения истинны наполовину, а может быть, и совсем, только мы этого не постигаем. Ведь нам кажется, что, чем ближе и теснее негодный человек общается с другим негодным человеком, тем большим врагом он ему становится. Ведь он чинит ему несправедливость, а между обидчиком и обиженным невозможна дружба. Разве не так?

— Так, — отвечал Лисид.

— Таким образом, половина приведенного высказывания неверна, коль скоро дурные люди подобны друг другу.

— Ты прав.

— Но мне кажется, что сочинители эти считают хороших людей подобными и дружественными друг другу, что же касается людей дурных, то, как о них говорится, они никогда не бывают в ладу даже с самими а собою, напротив, они безрассудны и неуравновешенны; а тот, кто не в ладу с самим собою, но, наоборот, в разладе, едва ли может быть в ладу и дружбе с другим. Не такого ли и ты мнения?

**Дружба как  
диалектическое  
стремление  
неподобия  
к взаимному  
подобию  
и к добродетели**

— Да, я с этим согласен, — сказал Лисид.

— Те, мой друг, кто утверждают, что подобное дружественно подобному, кажется мне, дают только понять, что хороший человек может быть другом лишь хорошему человеку, дурной же человек никогда не достигнет истинной дружбы ни с хорошим человеком, ни с дурным. Ты с этим согласен?

Лисид кивнул утвердительно.

— Теперь мы уже понимаем, кто такие друзья: наше рассуждение показывает нам, что это — хорошие люди.

— Да, это очень похоже на правду, — подтвердил Лисид.

— Мне тоже так кажется, — добавил я, — хотя кое-чем я и недоволен в сказанном: давай, во имя Зевса, посмотрим, что я подозреваю. Дружит ли подобный с подобным, насколько он ему подобен, и полезен ли та-

кой человек другому, подобному ему человеку? Или лучше вот так: какую может принести пользу или вред любое подобное любому другому подобному, кои оно не принесло бы себе самому? Либо что оно может претерпеть, если не то, что и от самого себя? Как могут такие подобные люди тянуться друг к другу, если они не могут оказать друг другу никакой помощи? Возможно ли это?

— Нет, невозможно.

— Но может ли быть милым то, к чему нет тяготения?

— Ни в коем случае.

— Значит, подобный подобному — не друг. А хороший человек может быть другом хорошему в той мере, в какой он хорош, а не в той, в какой он ему подобен?

— Возможно.

— Далее, хороший человек, в той мере, в какой он хорош, не довлеет ли настолько же самому себе?

— Да, довлеет.

— Тот же, кто довлеет себе, ни в чем не нуждается по причине этого самодовления.

— Несомненно.

— А тот, кто ни в чем не нуждается, ни к чему и не тяготеет.

— Да, это так.

— Далее, кто не тяготеет к чему-то, тот и не любит.

— Конечно, нет.

— Тот же, кто не любит, — не друг.

— Ясно, что это так.

— Каким же образом — начнем с этого — могут быть хорошие люди друзьями хорошим, если они, будучи далеки друг от друга, не испытывают взаимного тяготения и довлеют самим себе, живя порознь, да и находясь вместе, не могут принести друг другу никакой пользы? И какое ухищрение может заставить таких людей высоко друг друга ценить?

— Да никакое, — отвечал Лисид.

— Ну а не ценя друг друга, они не могут быть и друзьями.

— Это правда.

— Вникни же, мой Лисид, насколько мы отклонились от истины. Пожалуй, мы находимся полностью в заблуждении.

— Как же это? — спросил он.

— Мне случилось некогда слышать от кого-то —



сейчас я это припоминаю, — будто подобное подобному и хорошие хорошим в высшей степени враждебны<sup>22</sup>; при этом он ссылаясь в качестве свидетеля на Гесиода, сказавшего, что

Гончар гончара ненавидит, аэд не выносит аэда,  
А нищего — нищий...<sup>23</sup>

И относительно всего остального он таким же образом утверждал, будто неизбежно, что, чем более одно подобно другому, тем более оба они исполнены взаимной неприязни, зависти и вражды, в то время как самое между собой несходное преисполнено дружбы<sup>24</sup>. Поэтому бедный неизбежно будет другом богатому, слабый — сильному, ибо они могут в таком случае рассчитывать на помощь, болезненный же человек будет другом врачу; и точно так же всякий несведущий человек будет любить и уважать сведущего. В еще более возвышенных выражениях он рассуждал о том, что подобное никак не бывает дружественно подобному, но дело обстоит прямо противоположным образом: величайшая дружба существует между крайними противоположностями. И каждый вождедеет именно к своей крайней противоположности, но не к своему подобию: сухое стремится к влажному, холодное — к горячему, горькое — к сладкому, острое — к тупому, пустота — к наполненности, а наполненность — к пустоте, и все прочее — таким же точно порядком<sup>25</sup>. Ведь противоположное питает противоположное, тогда как подобное не получает ничего от подобного. В самом деле, мой друг, говоря это, он показал себя весьма изысканным человеком: прекрасно ведь это сказано. А вам, — спросил я, — как нравится его речь?

— Очень нравится — в том виде, как мы ее сейчас слышим, — сказал Менексен.

— Итак, скажем мы, что противоположное в высшей степени дружественно противоположному?

— Да, конечно.

— Но, — возразил я, — не странно ли это, Менексен? Ведь тут же на нас, ликуя, набросятся все эти высоко-  
мудрые мужи — любители противоречий, вопрошая, не в высшей ли степени противоположны между собою вражда и дружба? И что мы им ответим? Быть может, необходимо признать, что здесь они правы?

— Да, это необходимо.

— Так что же, — спросят они, — враждебное дру-

жественно дружественному или дружественное — враждебному?

— Ни то ни другое, — отвечал Менексен.

— А справедливое — несправедливому, скромное — невоздержному или благое — дурному дружественны?

— Нет, мне кажется, это неверно.

— Однако, — возразил я, — если что-либо бывает дружественным чему-то в силу крайней противоположности, необходимо и этим вещам быть дружественными?

— Необходимо.

— Следовательно, ни подобное подобному, ни противоположное противоположному не бывает дружественным.

— Похоже, что не бывает.

— Рассмотрим же еще вот что, дабы от нас впредь не утаилось, что дружественное поистине не имеет отношения ко всем этим вещам, но то, что и не хорошо и не дурно, бывает дружественным хорошему<sup>26</sup>.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Менексен.

— Клянусь Зевсом, — отвечал я, — я и сам этого хорошенько не знаю, но испытываю настоящее головокружение из-за сложности рассуждения. Быть может, согласно древней поговорке, нам мило прелестное<sup>27</sup>: слова эти напоминают что-то легкое, гладкое, лоснящееся; возможно, поэтому-то они от нас всячески ускользают. Итак, я утверждаю, что благо прекрасно. Ты не согласен?

— Нет, согласен.

— Далее, я утверждаю как своего рода пророчество, что прекрасному и благому дружественно то, что и не хорошо и не дурно. Послушай же, к чему относится мое прорицание. Мне представляется, что существуют как бы неких три рода — хорошее, дурное и третье — ни хорошее ни дурное<sup>28</sup>. А ты как считаешь?

— Точно так же, — отвечал Менексен.

— И при этом ни хорошее хорошему, ни дурное дурному, ни хорошее дурному не бывают дружественными — это запрещает наше прежнее рассуждение. Таким образом, если что и бывает дружественным другому, то остается ни хорошее ни плохое в качестве дружественного либо хорошему, либо такому же, как оно само. Ведь плохому ничто не может быть дружественным.

— Это правда.

— Но и подобное не может быть дружественным подобному, как мы сказали недавно. Не так ли?

— Да.

— Значит, ни хорошее ни плохое не будет дружественным такому же, как оно само.

— Очевидно, нет.

217 — Таким образом, одно только то, что и не хорошо и не плохо, может оказаться дружественным хорошему.

— Похоже, что это неизбежно.

— Итак, мои мальчики, теперешнее рассуждение указало нам, по-видимому, прекрасный путь? — спросил я. — Если мы пожелаем представить себе здоровое тело, то поймем, что оно не нуждается ни в врачебном искусстве, ни в получении какой-либо пользы; оно довлеет себе, так что ни один здоровый человек не будет другом врачу: ведь он здоров. Не так ли?

— Именно так.

— А больной человек из-за своей болезни будет в нем нуждаться?

— Как же иначе?

ь — Ведь болезнь — это зло, врачебное же искусство — нечто полезное и благое.

— Да.

— Тело же само по себе — это ни благо ни зло.

— Правильно.

— А бывает оно вынуждено из-за своей болезни тянуться к врачебному искусству и его любить?

— Мне кажется, да.

— Следовательно, ни дурное ни хорошее становится дружественным хорошему из-за присутствующего в нем зла?

— Похоже, что так.

с — Ясно, что оно становится дружественным хорошему раньше, чем оказывается плохим из-за наличного в нем зла. Ведь оно стремится к хорошему и дружески тянется к нему до того, как само станет плохим: мы же сказали, что дурное не может быть другом хорошему.

— Да, не может.

— Посмотрите же, что именно я утверждаю: некоторые вещи, говорю я, сами уподобляются тому, что в них присутствует, другие же нет. Например, если кто пожелает выкрасить некий предмет какой-нибудь краской, то краска эта будет присутствовать в том, что ею выкрашено.

— Конечно.

— В этом случае выкрашенный предмет будет иметь такой же цвет, как положенная на него краска?

— Я не совсем тебя понимаю,— молвил Менексен. а

— Но я вот что имею в виду,— продолжал я.— Если кто-нибудь твои рыжие волосы покрасит белилами, станут они от этого белыми или лишь будут казаться такими?

— Будут казаться,— отвечал он.

— Но в них будет присутствовать белизна.

— Да.

— Однако от этого они ничуть не станут белыми, но, несмотря на присутствие белизны, окажутся ни белыми ни черными.

— Это правда.

— Когда же, мой друг, старость выкрасит их в тот же цвет, они станут такими же, как то, что к ним добавилось,— белыми от присутствия белизны.

— Как же иначе? б

— Вот о том я тебя сейчас и спрашиваю: если к чему-то присоединится нечто, уподобится ли то, что получило данный признак, этому последнему? Или же это будет зависеть от способа, каким произошло это присоединение?

— Скорее именно так,— отвечал Менексен.

— Значит, и то, что ни плохо ни хорошо, иногда от присоединения плохого не становится плохим до поры до времени, а бывает, что и становится.

— Несомненно.

— И пока это еще не стало плохим от присоединения плохого, присутствие последнего заставляет то, что и не плохо и не хорошо, стремиться к хорошему. То же, что делает его плохим, лишает его одновременно и такого стремления и любви к добру. И это не будет уже 218  
ни плохим ни хорошим, но оказывается плохим, а плохое не может быть, как мы видели, другом хорошему.

— Нет, не может.

— Поэтому мы должны сказать, что те, кто уже мудры, не стремятся более к мудрости, боги они или люди. Не стремятся к ней и те, кого крайнее невежество делает плохими людьми: ни один дурной и невежественный человек не тяготеет к мудрости. Остаются те, в ком хоть и гнездится это зло — невежество, однако не делает их совсем неразумными и невежественными: они еще понимают, что не знают того, что им неизвест- ь

но. Поэтому-то стремится к мудрости тот, кто не хорош и не плох; плохие же люди к ней не стремятся и точно так же хорошие <sup>29</sup>, ибо, как показало наше прежнее рассуждение, ни противоположное не дружелюбно противоположному, ни подобное — подобному. Припоминаете ли вы это?

— Разумеется, — отвечали оба.

— Теперь, — продолжал я, — Лисид и Менексен, мы наилучшим образом установили, что есть дружелюбное, а что таковым не является. Мы утверждаем, что и не хорошее и не плохое — идет ли речь о душе, теле или о чем бы то ни было другом — оказывается дружелюбным хорошему в силу присутствия в нем плохого.

Оба они согласились с тем, что это во всех отношениях верно.

Сам я также очень обрадовался, подобно охотнику, настигнутому наконец свою добычу <sup>30</sup>. Но потом — не знаю откуда — пришло мне в голову нелепейшее подозрение, что наш общий вывод неверен. Сразу опечалившись, я молвил:

— Увы, Лисид и Менексен, кажется, богатство наше нам только приснилось!

— Да как же так? — спросил Менексен.

Какова первоприрода дружбы?

— Боюсь, — отвечал я, — не уподобились ли мы лживым бахвалам, попусту бросающимся такими вот словами относительно дружбы.

— Что ты имеешь в виду? — спросил он.

— А вот что, — сказал я, — давайте посмотрим: тот, кто является другом, является им кому-то или же нет?

— Разумеется, кому-то, — отвечал он.

— Без всякой причины и цели или по какой-то причине и ради чего-то?

— По какой-то причине и ради чего-то.

— А тому, ради чего друг является другом своему другу, он дружелюбен или же не дружелюбен и не враждебен?

— Я не совсем понимаю, — промолвил Менексен.

— Это неудивительно, — сказал я. — Но, быть может, тебе будет яснее, да и сам я лучше осмыслю свои слова, если скажу так: мы только что утверждали, что большой человек бывает другом врачу. Не так ли?

— Да.

— Значит, он друг ему по причине своей болезни и ради выздоровления?

— Да.

— А болезнь — это зло?

— Ну конечно.

— А здоровье? — спросил я. — Благо или зло или ни то ни другое?

— Благо, — отвечал он.

— Итак, мы говорили, если я не ошибаюсь, что тело, 219  
не являясь ни благом ни злом, бывает дружелюбно  
врачебному искусству по причине болезни, то есть по  
причине зла. Врачебное же искусство — благо, ему да-  
рят дружбу ради здоровья, а здоровье — это также  
благо. Ты согласен с этим?

— Да.

— Так другом или недругом бывает здоровье?

— Другом.

— А болезнь — это враг?

— Разумеется.

— Значит, то, что не есть ни благо ни зло, становит- ь  
ся другом хорошему по причине зла и вражды и ради  
блага и дружбы.

— Это очевидно.

— Следовательно, друг становится другом во имя  
дружбы и по причине вражды.

— По-видимому.

— Ну что ж, дети мои, — сказал я. — Коль скоро мы  
к этому пришли, давайте будем внимательны, чтобы не  
промахнуться. Ведь то, что дружелюбное оказалось  
дружелюбным дружелюбному и подобное оказывается  
таким образом дружелюбным подобному, я остав-  
ляю пока в покое — мы же признаём это невозможным.  
Но давайте проследим, чтобы нас не обмануло наше  
теперешнее рассуждение. Итак, мы сказали, что врачеб- о  
ное искусство дружелюбно во имя здоровья?

— Да.

— Значит, и здоровье дружелюбно также?

— Конечно.

— А если дружелюбно, то ведь ради чего-то?

— Да.

— Ради чего-то дружелюбного, если придержи-  
ваться прежнего решения?

— Разумеется.

— Но значит, и это последнее будет дружелюбным  
ради чего-то дружелюбного?

— Да.

— Однако, став на такой путь, не должны ли мы будем в конце концов неизбежно остановиться, то есть прийти к некоему первоначалу<sup>31</sup>, которое уже не приведет нас более к другому дружественному, но окажется тем первичным дружественным, во имя которого мы и считаем дружественным все остальное?

— Да, это неизбежно.

— Вот это и есть то, что я имею в виду: я опасался, как бы не обмануло нас все, что, по нашим словам, дружественно на основе этого первоначала и представляет собой как бы его отображение, в то время как само это первоначало есть истинно дружественное. Давайте поразмыслим вот над чем: когда кто-нибудь ценит что-либо чрезвычайно высоко — например, когда отец всему своему достоянию предпочитает своего сына, — он ведь должен из предпочтения к своему сыну высоко ценить и что-то еще? Например, если бы он увидел, что тот выпил цыкату<sup>32</sup>, он ведь выше всего ценил бы тогда вино, считая, что оно может спасти его сыну жизнь?

— Несомненно, — откликнулся Менексен.

— А также и сосуд, в котором содержалось бы это вино?

— Конечно.

— Но значит ли это, что в таких обстоятельствах он не делает никакого различия между глиняным кубком и своим сыном или между своим сыном и тремя мерами вина? Или же в действительности дело обстоит так: все эти усилия делаются не ради средств, употребляемых для достижения поставленной цели, но ради цели, во имя которой пускаются в ход эти средства? Часто мы говорим, что высоко ценим золото и серебро; однако это не вполне верно: выше всего мы ценим то, во имя чего мы кошим и золото и все остальные средства. Так ли мы скажем?

— Разумеется, так.

— Но не то же ли самое относится к дружественному? Все то, что мы называем дружественным нам из-за некоего иного дружественного, дружественно не в собственном смысле этого слова: на самом деле дружественно, как видно, лишь то самое, к чему устремляется все это так называемое дружественное.

— По-видимому, так оно и есть, — сказал Менексен.

— Значит, то, что дружественно по существу, дружественно не из-за какого-то другого дружественного?

— Это верно.

— Значит, следует исключить то, что дружественное дружественно по причине какого-то другого дружественного. А благо — это нечто дружественное?

— Мне кажется, да.

— Итак, благо любят по причине зла, и дело обстоит следующим образом: если бы из трех вещей, сейчас нами перечисленных, — блага, зла и того, что не есть ни благо ни зло, — остались бы только две, причем зло бы исчезло и ничему больше не грозило — ни телу, ни душе, ни всему остальному, что мы определили как само по себе ни плохое ни хорошее, то благо не принесло бы нам никакой пользы, но оказалось бы бесполезным? Если ничто не наносит нам более ущерба и мы не ожидаем для себя никакой пользы, именно тогда становится ясным, что мы любим и ценим благо из-за присутствия зла, как некое лекарство от этого зла, зло же приравниваем к болезни; а при отсутствии болезни нет нужды ни в каком лекарстве. Такова природа блага, и любим мы его по причине зла, когда сами находимся посредине между благом и злом; само же по себе — как самоцель — оно ведь не приносит никакой пользы?

— Похоже, что нет, — отозвался Менексен.

— Итак, нам дружественно то, к чему устремляется все остальное, именуемое нами дружественным из-за иного дружественного, кое ничем не напоминает остальных. Последние именуются дружественными из-за того дружественного, кое в полную противоположность остальному оказывается истинно дружественным, дружественным по самой своей природе: ведь остальное для нас дружественно по причине враждебного; если же враждебное исчезает, оно, по-видимому, не будет больше нам дружественным.

— По крайней мере, — сказал Менексен, — если верить сказанному сейчас.

— Но, — спросил я, — во имя Зевса, если зло погибнет, исчезнут ли также голод и жажда или другие подобные вещи? Или, коль скоро существуют люди и другие живые существа, голод останется, хотя он и не будет вредоносным? Также и жажда и другие вожеления не будут больше злом, ибо ведь зло погибло? Или вообще вопрос о том, что тогда будет или чего не будет, смехотворен? Кому ж это может быть ведомо? Однако одно мы знаем, а именно что в настоящее время голодаю-



щий человек может испытывать и урон и пользу. Не так ли?

— Разумеется.

ь — Значит, и терпящий жажду или испытывающий другие подобные вожеления может иногда испытывать их с пользой для себя, иногда — во вред, а иногда и не так и не этак?

— Несомненно.

— Что ж, если зло погибнет, следует ли из этого, что вместе с ним должно погибнуть и то, что не является злом?

— Вовсе нет.

— Значит, вожеления, кои не хороши и не дурны, останутся и тогда, когда погибнет зло?

— Очевидно.

— Так вот, возможно ли, испытывая к чему-либо вожеление и страсть, не любить то, что вызывает эти страстные вожеления?

— Мне кажется, нет.

с — Значит, и после исчезновения зла останется что-то дружественное?

— Да.

— Но ведь если зло — причина того, что нечто является дружественным, то после его гибели ничто не может быть дружественным чему-то другому. Коль скоро причина погибла, не может продолжать существование то, чему она служила причиной.

— Ты прав.

— А разве мы не признали, что дружественное дружественно чему-то и по какой-то причине? Мы ведь считали тогда, что причина эта — зло, и именно по причине зла то, что и не хорошо и не плохо, дружественно хорошему.

— Это правда.

д — А вот теперь, похоже, обнаруживается какая-то иная причина взаимной дружбы.

— Да, похоже, что так.

— Значит, и в самом деле, как мы говорили недавно, вожеление есть причина дружбы и вождедующее дружественно тому, к чему оно вождедеет, и тогда, когда оно вождедеет, а то, что мы прежде говорили относительно дружественного, оказывается вздором, словно поэма, изобилующая длиннотами?

— Это возможно.

— Однако вождедеющее вождедеет к тому, в чем оно нуждается<sup>33</sup>. Не так ли?

— Да.

— Значит, нуждающееся дружественно тому, в чем оно нуждается?

— Мне так кажется.

— Нуждается же оно в том, чего оно каким-то образом лишено?

— Как же иначе?

— Итак, Менексен и Лисид, похоже, что любовь, дружба и вождеделение оказываются чем-то внутренне нам присущим<sup>34</sup>.

Они с этим согласились.

— Значит, коль скоро вы между собою друзья, вы по своей природе друг другу родственны.

— Да, несомненно! — воскликнули они в один голос.

— И если, мальчики, — сказал я, — кто-либо из двух вождедеет к другому или любит его, то, следовательно, он не вождедел, не любил бы его и не испытывал бы к нему дружеского чувства, если бы не был каким-то образом родствен любимому — душою ли или неким свойством, привычкой либо особенностью души.

— Несомненно, — отозвался Менексен; Лисид же промолчал.

— Далее, — заметил я, — мы, естественно, должны любить родственное нам по своей природе.

— Да, это естественно, — сказал Менексен.

— А посему подлинно любящему, а не делающему вид, что он любит, любимец должен отвечать любовью.

На это Лисид и Менексен едва кивнули, Гиппотал же от радости то бледнел, то краснел.

А я, желая пересмотреть сказанное заново, говорю:

— Если нечто родственное отлично от подобного, то, как мне кажется, Лисид и Менексен, мы говорим дело относительно дружбы. Если же подобное и родственное — одно и то же, нелегко нам будет отбросить наше прежнее рассуждение, ибо тогда окажется, что подобное подобному вовсе не бесполезно в силу своей подобности; и уж совсем чистым вздором выглядело бы допущение, будто бесполезное дружественно. Итак, не желаете ли вы, — продолжал я, — поскольку мы уже почти пьяны от слов, согласиться с утверждением, что родственное чем-то отлично от подобного?

Существенные  
трудности  
в определении  
понятия дружбы

— Конечно, желаем.

— Не предположим ли мы также, что благо родственно всему, зло же, наоборот, чуждо? Или что зло родственно злу, благо — благу, а то, что не есть ни благо ни зло, — тому, что не есть ни благо ни зло?

Они согласились со всеми членами этого положения.

а — Итак, мальчики, — сказал я, — мы снова впали в то недоразумение относительно дружбы, которое отбросили раньше: получается, что несправедливый человек несправедливому и дурной дурному будет таким же другом, как хороший человек хорошему.

— Похоже, что так, — откликнулся Менексен.

— Далее, если мы утверждаем, что благое и родственное тождественны<sup>35</sup>, разве это не то же самое, что сказать: только хороший человек — друг хорошему?

— Конечно, то же самое.

— Однако припоминаете ли вы, что и по этому пункту мы, как нам казалось, себя опровергли?

— Припоминаем.

е — Но как же еще можем мы воспользоваться нашим рассуждением? Не ясно ли, что никак? У меня возникла потребность, подобно мудрым судьям, пересмотреть с самого начала все нами сказанное. Итак, если ни любящие, ни любимые, ни подобные, ни неподобные, ни добрые люди, ни родственные, равно как и все прочее, что мы перечислили, — я уж и не упомяну всего, такое этих вещей было множество, — если ничто из этого не является дружественным, мне нечего больше сказать.

223 Говоря это, я имел в виду привлечь к нашей беседе кого-нибудь из тех, кто постарше. Но тут, подобно злым демонам, приблизились воспитатели Менексена и Лисида, ведя за собою их братьев; они позвали мальчиков и приказали им идти домой. Было уже позднее время. Мы и все стоявшие вокруг нас хотели было их прогнать, но, поскольку они не обращали на нас никакого внимания и, сердито лопоча что-то на своем варварском наречии, продолжали их звать, нам показалось, что они перепились на празднестве Гермеса и не в состоянии с нами разговаривать<sup>36</sup>; побежденные, мы прервали нашу беседу. Однако, когда они уже уходили, я сказал:

б — Вот видите, Лисид и Менексен, я, старик, вместе с вами оказался в смешном положении. Ведь все, кто уйдет отсюда, скажут, что мы, считая себя друзьями — я и себя отношу к вашим друзьям, — оказались не в состоянии выяснить, что же это такое — друг.